

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение.

Начало в № 55, 58, 61, 63, 66

Хула за похвалу Дудинцева

И тут влетела в зал секретарша Николая Васильевича Лаптева и вскричала, что в Челябинске горят два рубленых двухэтажных дома и что ему нужно распорядиться... Я мог бы замолчать: дескать, без первого секретаря не все ладится, но продолжал говорить: собьюсь с обдуманных мыслей. Однако гладко катить речь не удалось. Задал вопрос второй секретарь обкома Михаил Сергеевич Соломенцев (я после узнал и чин его, и ф.и.о.). Спервоначально я заметил, что сидящий справа от Лаптева деятель с типично руководящим обликом: волосы зачесаны на затылок, зажаты уголки рта, выражающие подчеркнуто волевое напряжение и выработанную способность к окороту. Вострое выражение глаз, претендующее на прозорливость. И тоже сначала показалось мне, якобы он самый твердый мой недоброжелатель из всех членов бюро, восседающих за подковой стола.

– Говорят, – рывком остановил он меня, – вы хвалите Дудинцева?

– Да, хвалю и хвалить буду.

– Почему хвалите? Ведь вам неизвестно отношение партии к роману «Не хлебом единым»... Партия осудила роман.

– Отнюдь. Партия не осуждала роман. Общепартийный опрос не проводился.

– Я имею в виду мнение руководства партии.

– Во мнениях руководства партии вряд ли есть единство. Я присутствовал на приеме Первого съезда Союза писателей РСФСР в Большом Кремлевском дворце и слышал, что говорил о романе Дудинцева Никита Сергеевич Хрущев. Читал он роман с большим интересом, и не пришлось ему применять булавку, чтобы не заснуть. Сослался Хрущев и на Микояна Анастаса Ивановича, которого роман захватил и содержанием, и жизненной правдой. Микоян стоял рядом с Никитой Сергеевичем и согласно кивал. Других похвал не было. Не было и осуждения романа.

Порошок

профессора Бузько

– За что же вы хвалите роман?

– В нем присутствуют серьезные проблемы, затрагивающие сферу управления и технического развития. Карл Маркс утверждал, будто бы капиталисты выдающиеся изобретения кладут под сукно. Сие утверждение недолго существовало после его открытия. Капиталисты с ходу пускали изобретение в дело, даже предпочитали ошибиться. И сейчас так. Но более того: они содержат при фирмах чистых теоретиков. Это зацепили у Форда, путешествуя по Америке, Ильф и Петров. Мы оказались преемниками первоначального капитализма: кладем под сукно выдающиеся изобретения. У Дудинцева профессор Бузько создал порошок для быстрого тушения огня. Этому порошку перекрыли пути в производство, и профессор сам погиб в пожаре. На магнитогорском комбинате инженеры, в общем-то, занимаются вышибанием планов, а



Владимир Дудинцев – уникальное явление в русской литературе

не технизацией. Председатель комитета рационализаторов на комбинате Шпарбер говорила мне, – прогресс у нас на производстве совершается благодаря рабочим, но рабочие все решительней теряют интерес к творчеству, потому что их изобретения позорно обрастают прилипами из начальства. Доходит до кошунства. Мастера домны Савичева, Героя Социалистического Труда, который придумал одноносковую разливку, не включили в свидетельстве на патент, а шестерых прилипап включили.

Створки двери, ведущие в зал, заколебались, и вошел Лаптев. Соломенцев мигом унял свой въедливый опрос. Явление первого секретаря одухотворило меня. Я продолжал речь, отвечал на реплики и обвинения. Еще раз Лаптев удалялся, обеспокоенный пожаром, однако меня не прерывали, хотя говорил я около часа. После очередного возвращения в зал, дослушав меня, Лаптев встал и заявил, вопреки ожиданию присутствующих и моему (привычка и знание об априорной предрешенности): «Николай Воронов хорошо занимался литературным объединением. Ну, были там шероховатости. А в чем не бывает шероховатостей? Мы освободим его от руководства литобъединением, вместо него предложим Бориса Ручьева. Изберут Ручьева, значит, он займется литобъединением. А Воронова назначим главным редактором областного альманаха «Южный

Урал». Находящиеся здесь писатели Александр Шмаков и Марк Гроссман делают альманах, который никто не покупает и не читает. Если Воронов выпустит четыре номера, достойных внимания и чтения, мы создадим журнал, сначала шестизарядный, потом ежемесячный, с подпиской».

Писателей – под трибунал

Гроссман со Шмаковым захоронились, как де Воронов станет формировать альманах, не живя в областном центре?

Будет приезжать в Челябинск. Тихоголосый Лаптев с неукоснительным спокойствием укротил их ущемленность. Будет приезжать в командировки. А тем, что завершил

На Южном Урале отдали под трибунал почти всех писателей

сказанное выговором, что бюро обкома не вынесет мне какого-либо взыскания, Лаптев привел их в паническое состояние: лица их уплощились, как во время прокрутки на центрифугах у космонавтов.

Шишкалов позвал меня к себе. Он был взвинчен, с истеричной быстротой удалялся в другой конец широкого секретарского коридора. За Шишкаловым маршево грохали Гроссман и Шмаков. Мы с Татьяничей безмолвно шли позади. Мне думалось о собственном везении: не окажись Лаптев во главе обкома, я наверняка загремел бы туда, где Макар телят не пас. Татьяничей, пожалуй, вспоми-

нались катастрофические годы, когда на Южном Урале отдали под трибунал почти всех писателей, и лишь горстка из них уцелела в лагерях и тюрьмах. То, что пытаются сделать со мной местные воротилы, исходя из возможностей низменного всевластия, по карьеризму и заблуждению, способно навеивать Людмиле Константиновне чувство опасности, по всей вероятности, опять возникающее в обществе. Она спаслась в пору тех событий, в которых были попорчены и не уцелели ее друзья-товарищи, и явно прозревает, что подобные события, если впасть в попустительство, обладают пагубным свойством низвергаться каменными лавинами. Не исключено, что накроют или зацепят лично тебя. Через предполагаемые думы Татьяничей мне куда возвышенной и пронизательней воспринималось вчерашнее явление в гостиницу Александра Семеновича Саранцева.

Шишкалов указал мне на стул возле канцелярского стола наискосок от себя. На другой стул, напротив меня, сел Шмаков. На торцевых креслах расположились Татьяничева и Гроссман. Федор Маркович поднялся к столу на кресле с катками и вылепил то, что ему не терпелось сказать:

– А Машковцева и Немову все равно будем арестовывать.

– Не будете арестовывать, – мигом возмутился я.

– Будем! – слаженно гаркнули Шмаков и Гроссман. Последний сидел за спиной благопристойного лицом правдиста. О, удобная маска, отформованная представительством безошибочного печатного органа партии, межумочностью пролаз от безъязыких газетчиков и исторических писателей.

Прием

в первой приемной

Я кинулся защищать Немову и Машковцева невольно. Без предопределения, что Татьяничева поддержит меня. Возникла пауза, и все мы застыли в ожидании ее мнения. Странную особенность я отследил еще в юности в обличии женщин-руководительниц: они освобождались от чувства материнства, впрочем, в обличии начальственных мужей, пусть нечасто, сохранялось отцовство. И вдруг меня поражает облик Людмилы Константиновны чувством материнства, претенненным до скорби укоризной.

– Никакого ареста. Они из поколения наших детей, и мы ответственны за них.

Ей стали возражать. Они, мол, достаточно взрослые, чтобы нести ответственность за самих себя. Обозленные волей Лаптева (плотина, вставшая на пути их злокозния), они не умерились от мудрой вкрадчивости ее материнства. И я, раздирая их излукавленную ущемленность, сказал: «Вы заквашены на жестокости, а потому не проникаетесь материнским состраданьем Людмилы Константиновны». Однажды я унял их бездуховную подлость и цинизм единственным словом: «Сволочи!» И опять готов был его применить. Но тут раздался телефонный звонок Федору Марковичу, он поднял трубку и силпо проговорил:

– Воронова в первую приемную.

Не изощренный в аппаратном языке и чиновничьей подхвативости, я, однако, сосредотачивался для

удара, но Татьяничева подтолкнула меня под локоток:

– Вас приглашает Николай Васильевич.

Шишкалов, сама любезность, сопровождал меня до первой приемной, откуда секретарша, взволнованная давеча пожаром, положенной на воздух ладонью, погладила мой вход в кабинет Лаптева. Кабинет пустовал, и я, не останавливаясь, пошел к широкому столу зеленого сукна поверху, цвета весенней травы. Едва я дошел до середины кабинета-огромны, с противоположной стороны, точно бы из стены, появился Лаптев. Черные отливистые волосы мерцают. Успел принять душ и свеженький, как после сна. Обуянный тревогой, я закричал:

– Они хотят арестовать Машковцева и Немову. Неужели допустите?

– Разумеется, не допущу.

Чистосердечный разговор

Тихоголосый, он был ровен настроением, подвергнутому в годах шлифовке воли. И я принял молву о том, что он во время войны с немецко-фашистским нашествием, будучи инструктором Центрального комитета партии, отвечал за танковую промышленность. На его лучистозорность я обратил внимание еще на бюро секретариата. Но там она воспринималась как красота, которой он был одарен от природы. Но здесь, вблизи, видя цвет его глаз, коричневых, и такой густоты, что диву давался, я понял, что его иридирующий опалом взор также от умудренности.

Николай Васильевич подгрел к себе грузный однотомник энциклопедии, вполне вероятно, специально выпущенный только для высших руководителей страны, – тогда такие издания практиковались, и открыл его, и я жарко смутился, обнаружив заложенную туда книжку моих рассказов «Весенней порой»: больно тонкой и малоформатной она показалась мне. Но неловкость моя приутихла, едва Лаптев заговорил, и заговорил прямо-таки чистосердечно. Он читал книгу с интересом, потому что серьезную правду о серьезных людях лишь иногда встречал в советской художественной литературе, как, впрочем, и в классической. Наша критика пишет о тяжелом труде в условиях огня и химии, как о жертвоприношениях детей древнему божеству Молоху, имея в виду труд при капитализме. Пусть так бы писали, куда ни шло, но, не притворяясь, что такого труда у нас нет, и не производя экзекуций над писателями, которые осмеливаются этот труд изображать. С момента запечатленного Куприным в повести «Молох», минуло совсем немного по историческим меркам. Он показал работы средней опасности, среднего изнурения. По впечатлению Куприна они были жутче некуда. Писатель должен брать в учет неизбежность повязанного с пагубой надрывного труда, ибо этот труд необходим обществу. Писатель вместе с тем обязан стоять на страже человеческого здоровья. Куприн, как гуманист, придал своему заводу тип монстра и тем самым предупредил о промышленных угрозах, которые надо караулить, отводить, убирать. К нашему несчастью, труд теперь страшней и местами такой убийственности, что ни один фантаст не вообразит ☹

Продолжение следует.

> В литературе, как и во всем, талант – это символ ответственности. Шарль де Голль